

Л. А. Калинин
А. А. ФЕТ
И КАНТОВА
ЗВЕЗДНО-МОРАЛЬНАЯ
ТЕМА
В РУССКОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ

Доказывается, что основоположником «звездно-морального» цикла в русской философской лирике в 40-е годы XIX века является А.А. Фет. Начиная со стихотворений «Я долго стоял неподвижно...» (1843) и «Нептуну Леверье» (1847) до «Угасшим звездам» (1890), то есть на протяжении полувека, создавались Фетом лирические миниатюры под влиянием идей И. Канта и А. Шопенгауэра.

This article maintains that the founder of the "stars-and-morals" cycle in Russian philosophical poetry of the 1840s is A.A. Fet. From the poems "I stood a long time without moving" (1843) and "To Le Verrier's Neptune" (1846) to "To extinguished stars" (1890), i.e. over half a century, Fet created lyrical miniatures under the influence of Kant's and Schopenhauer's ideas.

Ключевые слова: «Всеобщая естественная история и теория неба», «Критика практического разума», планета Нептун, гравитационный коллапс и нетленность звезд, моральная рефлексия и космология, звезды как иероглифы мечты, поэзия как лестница на небо.

Key words: *General History of Nature and Theory of the Heavens, Critique of Pure Reason, planet Neptune, gravitational collapse and imperishability of stars, moral reflection and cosmology, stars as hieroglyphs of dreams, poetry as a stairway to heaven.*

Не подлежит никакому сомнению, что Кантов афоризм о звездном небе и моральном законе, венчающий «Критику практического разума», в русской поэзии вызвал к жизни устойчивый, перелившийся из века XIX в наш XXI век поток замечательных стихотворений (см. [3, с. 287 – 314]). Это может показаться неожиданным, но начало этому потоку было положено Афанасием Афанасьевичем Фетом. Пристрастное отношение Фета к звездам отмечалось всегда. «Вообще никто из предшественников и современников Фета не писал о звездах так часто, да и в нашей поэзии до Фета красота ночного неба обычно являлась одним из особенно

выразительных элементов ночного пейзажа», — писал Д. Д. Благой [1, с. 623]. «“Диалог” со звездами начался у Фета в самом раннем его творчестве и продолжался всю жизнь» — вторит ему Л. М. Розенблюм [7, с. 32]. Однако А. А. Фет не ограничивается красотой ночного пейзажа: звездный строй и строй человеческой души, звездная твердь и твердость и чистота моральной воли не только связаны в его стихах эстетически, но сливаются в *метафизическое* единство, в котором присутствие Канта ощутимо почти всегда, почти всегда созерцание звезд перерастает в нравственные переживания.

Двадцатитрехлетний поэт-студент (было это в 1843 году) написал первое свое стихотворение о связи человеческой души и звезд, сохранившее юношескую наивность и непосредственность выраженных в нем мыслей и чувств:

Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь, —
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.

Я думал ... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор... [10, с. 172]

Безыскусственность, с какой вылилась из души поэтическая мысль, стала достоинством стихотворения. Оно рождено идеей философской, остановившей внимание Фета и претворенной в факт поэзии. Заключительная строка этого одного из первых на данную тему стихотворений — *И звезды люблю я с тех пор* — оказалась пророческой: звездное небо в его связи со строем растущей поэтической фетовской души сопровождало Афанасия Фета на всех этапах его творческого пути, составляя постоянный мотив его. Вспоминая, например, один из звездных часов собственной жизни в связи с прекраснейшими посвященными звездам стихами Ф. И. Тютчева, А. А. Фет писал: «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и, по мере того как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блески и малопомалу всплывали в свою очередь. ... Глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте» [9, с. 149]. Из итальянского путешествия привез он удивительнейшие стихи. Даже если звездное небо — это и не прямой и не непосредственный предмет его поэтического вдохновения, он все равно так или иначе присутствует везде. У Фета стихи без звезд редки. Сама Муза поэта *небесная* [10, с. 276] — именно так обращается он к своей Музе в стихотворении 1857 года, а в 1882 году, посвящая ей новое стихотворение на 62-м году жизни, пишет:

Все та же ты, заветная святыня,
На облаке, незримая земле,
В венце из звезд, нетленная богиня,
С задумчивой улыбкой на челе [10, с. 301].

Да, Муза Афанасия Афанасьевича Фета — в венце из звезд, и всю жизнь изливала она из его души звездные шедевры:

На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.

Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносила прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.

Я ль несся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону [10, с. 213]

Это ведь перед нами кантовский мотив наизнанку, здесь спорит он с Кантом, и это придает стихотворению особую глубину и прелесть. Безотчетное растворение в звездной красоте и мощи обещает райское блаженство, которому не отдаться нельзя, противостоять ему нет никаких сил, когда расслаблена, бездейственна воля, тогда как философ видел себя властелином бесконечной системы из подобных нашему Млечных путей. Кант и сам в замечательном «Заключении» к «Критике практического разума» понимает, что побороть это чувство беспредельности космоса, захватывающее душу и дающее понять, что ты пылинка в грандиозном вихре бытия, сможет человек, если не оказывается он во власти чувства, поддавшегося рассудку, а ведь это самое естественное в состоянии ночного безволия. Важно суметь опереться на беспредельное могущество своего разума, мобилизованного действенной волей.

И еще в том же духе ... хоть продолжать можно долго:

Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли — и дай мне превозмочь
Весь этот тлен бездушный и унылый!

Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнем с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля — и теплится, как море.

Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной [10, с. 292]

(1865)

Здесь уже поэт идет навстречу Кантовой точке зрения: зрелище ночного неба зовет подняться *над* мирозданием, стряхнуть с себя все преходящее

и осознать единство с вечностью мира. А. А. Фет вносит в стихотворение лермонтовский мотив, но в кантовской тональности. Падший серафим Лермонтова — Демон — чужд миру, им отвергнут и страдает от этого отчуждения, преодолеть которое ему не дано даже ценою любви. Нет, космос одной природы с нами, утверждает поэт, и, добываясь господства над ним, мы остаемся в его родственных нам объятиях.

* * *

Обстоятельства знакомства с изречением Канта о гармонически-дизгармонической связи горящего звездами неба и души человеческой могли быть разными. Возможно, услышал он это кантовское изречение из уст профессора в университете — неважно, филолога или философа; сам ли прочитал знаменитую кантовскую «Критику...» вслед за профессорской рекомендацией, чего исключить нельзя, зная, что немецкий язык он получил с молоком матери, а тяготение души к Канту пронес через всю жизнь. Интерес академической и просто интеллектуальной общественности к немецкому классическому идеализму и Канту был высок на протяжении всего века. Скорее же всего, и в этом первом, и в ближайших последовавших стихах на данную тему сказало обсуждение ее в жарком студенческом споре образованного вокруг Аполлона Григорьева и Афанасия Фета кружка увлеченных поэзией, философией и наукой друзей. Часто собирались они в доме, принадлежавшем отцу Аполлона Григорьева, где в годы учения в Московском университете квартировал Фет. Можно с полным основанием предположить, что в первых стихах А. А. Фета на звездно-духовную тему обнаруживается знакомство его не только с «Критикой практического разума», но и с важнейшей естественно-научной работой докритического Канта «Всеобщей естественной историей и теорией неба» (1755). И, возможно, она играла здесь даже более важную роль. В истории науки эта работа занимает одно из почетнейших мест, интерес к ней время от времени обострялся по мере того, как сбывались ее теоретические предсказания. Но присутствует в ней и великая гуманистическая мечта: найти во Вселенной братьев по разуму и осваивать беспредельность космоса совместными усилиями, — а мимо этой идеи пройти и не обратить на нее внимание — выше сил любого поэта, даже не такого мечтателя, каким был Афанасий Фет.

«Всеобщая естественная история и теория неба» кончается следующим изречением: «Действительно, когда дух исполнен размышлений... тогда вид звездного неба в ясную ночь доставляет такое удовольствие, какое испытывает только благородная душа. — И Кант продолжает его словами, которые проливают елей в поэтически настроенное сердце: При всеобщем безмолвии природы и спокойных чувствах заговорит тогда скрытая познавательная способность бессмертного духа на неизъяснимом языке и внушит неясные понятия, которые можно, правда, почувствовать, но нельзя описать» [4, с. 261]. *Неясные понятия скрытой познавательной способности, какой является художественный вкус, в 1788 году, в финале второй великой «Критики ...», предстанут уже в виде ясных и отчетливых понятий морально-практического разума, выражающих абсолютный закон морали — категорический императив; но в первых из стихотворений Фета какая-то связь, родившаяся между поэтом и звездами, выражена еще на неизъяснимом языке благородной души.*

Стихотворение «Нептуну Леверье» уже оставляет мало места сомнениям относительно близкого знакомства поэта с Кантовой космогонической

гипотезой, ибо как предмет этого стихотворения — открытие в сентябре 1846 года планеты Нептун, осуществленное У. Леверье и И. Галле, — так и реалии его связаны с космогоническим трактатом Канта.

Что показательно и может только подтвердить мои предположения, так это одно из стихотворений Аполлона Александровича Григорьева, написанное в июне 1843 года, когда кружок юных интеллектуалов собирался особенно активно. Стихотворение это — «Комета». Стоит его прочесть, и мы сразу обнаружим присутствие в нем основополагающих идей космогонической гипотезы Канта:

Когда средь сонма звезд, размеренно и стройно,
 Как звуков перелив, одна вослед другой,
 Определенный путь свершающих спокойно,
 Комета полетит неправильной чертой,
 Недосозданная, вся полная раздора,
 Невзнузданных стихий неистового спора,
 Горя еще сама и на пути своем
 Грозя иным звездам стремленьем и огнем,
 Что нужды ей тогда до общего смущенья,
 До разрушения гармонии?.. Она
 Из лона Отчего, из родника творенья
 В создання стройный круг борьбою послана,
 Да свершит путем борьбы и испытанья
 Цель очищения и цель самосоздания [2, с. 53–54].

Аполлон Григорьев использовал основные положения третьей главы из второй части трактата Канта «Об эксцентриситете планетных орбит и о происхождении комет» (см. [4, с. 171–177]). Кометы представляют собой легкие, незавершенные формированием (*недосозданные*) по сравнению со звездами и планетами сгустки космического вещества, эксцентриситет которых значительно отличается от планетного (*неправильный*). Наличие комет разрушает, естественно, гармонический строй системы. Каждой строчке здесь можно приводить соответствие из указанной главы трактата Канта. Но в сути своей стихотворение Аполлона Григорьева не о комете — оно о юности, романтически мятежной, с яростными душевными борениями, в результате которых и происходит *самоочищение* и *самосозидание* человека-героя. Аналогия эта, столь отдаленная и точная, делает художественно-прекрасной риторику стихотворения.

Но вернемся к Фету. Совершенно знаменательно открытие, описываемое в стихах. В такой ситуации поэзия часто грешит риторикой, но в произведении Фета отголоски ее служат скорее достоинством. Обычно же в поэзии великого лирика риторики нет даже в так называемых стихах «на случай», а это явный признак гениальности поэта.

Стихотворение написано буквально по следам замечательного открытия, совершенного в 1847 году, но когда А. Фет напечатал его в своем поэтическом сборнике «Стихотворения», околелитературная публика сочла это стихотворение обычным антологическим, посвященным богу Нептуну гимном. Внося его в список, очевидно, для последнего (пятого) выпуска «Вечерних огней», Фет к первоначальному названию — «Нептуну» — добавил фамилию открывателя Леверье, чтобы подчеркнуть, что древнеримский бог-владыка океана играет лишь аллегорическую роль в его гимне, героем же выступает вновь открытая планета. Вот это замечательное стихотворение, в котором мастерски использованы антологические мотивы.

Для людей, не интересующихся естествознанием, они вполне могли оставаться единственными.

Нептуну Леверье

Птицей,
Быстро парящей птицей Зевеса
Быть мне судьбою дано всеобъемлющей.
Ныне, крылья раскинув над бездной
Тверди, — ныне над высью я
Горной, там, где у ног моих
Воды,
Вечно несущие белую пену,
Стонут и старый трезубец Нептуна
В темных руках повелителя строгого блещет.
Нет пределов
Кверху и нет пределов
Книзу.

Здравствуй!
На половинном пути
К вечности, здравствуй, Нептун! Над собою
Слышишь ли шумные крылья и ветер,
Спертый нагрудными сизыми перьями? Здравствуй!
Нет мгновенья покою;
Вслед за тобою летящая
Феба стрела, я вижу, стоит,
С визгом перья поджавши, в эфире.
Ты промчался, пронесся, мелькнул и сокрылся,
А я!

Здравствуй, Нептун!
Слышишь ли, брат, над собою
Шумный полет? — Я принес
С жаркой, далекой земли,
Кровью упитанной,
Трупами тучной,
Лавром шумящей,
Мой привет тебе: здравствуй, Нептун!

Вечно, вечно,
Как бы ни мчался ты, брат мой,
Крылья мои зашумят, и орлиный
Голос к тебе зазвучит по эфиру:
Здравствуй, Нептун! [10, с. 229—230].

По патетическому тону это, пожалуй, единственное творение А. А. Фета. И это естественно, так как высочайшей патетики заслуживает как само открытие, так и предсказание Канта о том, что очень велика вероятность «предположения о существовании ряда планет за Сатурном, опирающаяся на закон возрастания эксцентриситета планет с увеличением их расстояния от Солнца» [4, с. 130]. «На основании такого предположения, — развивает свою гипотезу Кант, — можно было бы, пожалуй, надеяться, что будут открыты новые планеты за Сатурном, более эксцентрические, чем Сатурн, и, следовательно, более близкие по своим свойствам к кометам; но как раз поэтому их можно было бы наблюдать в течение лишь короткого времени,

а именно в их перигелии; это обстоятельство, а также незначительная степень их приближения и слабость их света мешали до сих пор открыть их и делают открытие их затруднительным в будущем» [4, с. 150].

Предвидение Канта было подтверждено еще при его жизни: в 1781 году В. Гершелем был открыт Уран. Открытие Нептуна, еще более полно соответствующее предсказанию творца космогонической гипотезы, вновь побудило не только ученых, но и культурную общественность Европы обратиться к этому докритическому кантовскому труду.

Кант — мечтатель, но и мыслитель (!) — сомневается и сожалеет: «Неужели она (наша бессмертная душа. — Л. К.) никогда не будет причастна к созерцанию остальных чудес творения (помимо Земли как нашей колыбели. — Л. К.) с более близкого расстояния? — Но все же надеется: <...> Быть может, для того и образуются еще некоторые тела планетной системы, чтобы по истечении времени, предписанного для нашего пребывания здесь, уготовить нам новые обитатели на других небесах?» [4, с. 259]. Фет, такой же мечтатель, как Кант, но не философ, а поэт (!), эту надежду обращает в реальность и возглашает: «Здравствуй, Нептун!» Орлом Зевса — в скафандре из железных перьев — парит поэт над бездной видной с Нептуна *тверди*, ибо, и с него глядя на необозримое звездное пространство, видишь те же строгие законы мироздания. *И нет пределов кверху, как нет пределов книзу*, так как свершает свое движение Нептун *на половинном пути к вечности*: космический хаос царит как до границ организованного звездно-планетного мира, так и после него. «Немалое удовольствие — силою воображения, — пишет Кант, — перенестись за пределы законченного творения в пространство хаоса и увидеть, как почти первозданная природа вблизи сферы уже образовавшегося мира постепенно теряется во всем несформировавшемся пространстве, проходя через все ступени и оттенки несовершенства» [4, с. 210]. — Философ и поэт соревнуются в силе и яркости воображения.

Сквозь призму *нептунизма* видит поэт-орел поверхность Нептуна, зависнув над ним и летя вместе с ним в мировом пространстве: из пенящихся вод поднимаются горные выси, из вод формируется девственная поверхность планеты, не отравленная еще ни льющей кровью, ни трупным запахом. По-другому и не может твориться обитель Нептуна.

Нового брата обрела Земля, новую территорию для ее обитателей: «Здравствуй, Нептун!»

Не только Кант, но и Артур Шопенгауэр будил воображение поэта. Правда, Шопенгауэр по-своему комментировал и развивал ставший популярным афоризм великого предшественника о звездном небе и моральном законе. Изречение Канта несет в себе глубокий эстетический эффект, свидетельствующий о зыбкой грани между чувствами прекрасного и возвышенного, их перетекании из одного в другое. Этот-то эффект и подвергает теоретическому анализу и переинтерпретирует его по своему вкусу Артур Шопенгауэр. У Канта эстетическое содержание его афоризма дополнительно к главному, каким является идея единства практического и теоретического отношений субъекта и мира, содержание, не замыкающееся в разуме, а оказывающееся свойством самой природы, если мы «определим природу как весь предмет *всего* возможного опыта (курсив мой. — Л. К.)» [6, с. 115], в его (опыта) историческом движении к царству целей. А. Шопенгауэр эстетическое содержание афоризма рассматривает совершенно самостоятельно, отвлекаясь от Кантовой проблемы. В его строе философских идей такая проблема даже не может быть поставлена. Тем обстоятельнее анализирует он эстетическое начало, скрытое в кантовском тексте.

Идея незаинтересованности эстетического сознания, бесцельной целесообразности как важнейшей черты суждений вкуса, развитая в эстетике Канта, становится у Шопенгауэра определяющей характеристикой художественно-эстетического состояния субъекта, с помощью которого он освобождается от направляемых волей событий, связанных *законом основания*. Созерцание прекрасной природы особенно непринужденно и безболезненно переводит человека в это состояние. Природе «почти всегда удается, — пишет Шопенгауэр, — когда она внезапно открывается нашему взору, оторвать нас хотя бы на мгновение от субъективности, от рабского служения воле и погрузить в состояние чистого познания. Поэтому даже человек, измученный страстями, нуждой и заботой, так внезапно, бросив единственный взгляд на природу, обретает отраду, просветление и бодрость: буря страстей, порывы желаний и страхов и вся мука воления сразу же чудесным образом умиротворяются» [11, с. 312]. Одно из прекраснейших природных зрелищ — созерцание *звездного неба*. Отправляясь от «Заключения» к «Критике практического разума», Шопенгауэр ставит идею Канта в зависимость от его же теории возвышенного, развернутой основателем философской эстетики в «Критике способности суждения», но существенно переосмысливает как первое, так и второе. Для Канта звездное небо *прекрасно*, и если рождается при любовании им чувство возвышенного, то это чувство характеризует не звезды (они прекрасны), а наше моральное самосознание, говорящее нам о нашем грядущем владении этим богатством и красотой, как овладели мы и поставили себе на служение Землю. Возвышенна мысль о величии разума и его могуществе. Мы — человечество — сами для себя конечная цель, космос — лишь средство, которое будет служить этой цели. Человечество и космос не чужды друг другу. Есть нечто, что их роднит. Шопенгауэр с этим решительно не согласен: мораль, считает он, нельзя примешивать ни к эстетике, ни к искусству. Иначе нам не оторваться от нудящего действия воли, не вырваться из кошмарных ее объятий. В эстетическом сознании кроется единственная возможность, утратив которую, мы оказываемся в кромешной тьме абсолютной безнадежности. Кантова идея, что чувство возвышенного — это уже не чисто эстетическое чувство, что природа его в значительной мере связана с моралью, претит Шопенгауэру. Следуя послушно за кантовскими образами и идеями во многом, в этом пункте он решительно протестует и заявляет, что «в объяснении внутренней сущности этого впечатления мы с ним полностью расходимся и не признаем здесь ни *моральных рефлексий*, ни *гипостазов схоластической философии* (курсив мой. — Л. К.)» [11, с. 319].

Гипостазы схоластической философии в системе Канта — это его безоговорочное признание мира вещей в себе не волей, но объективной, не зависящей от нас материальной сущностью; это его убеждение, что природа во всем богатстве и бесконечных проявлениях своих несет в себе материю вещей в себе и никак не может быть отождествлена с нами самими, с нашими *представлениями*. Возражая против этих *гипостазов*, философ мировой воли и скорби пишет:

Когда мы погружаемся в размышление о бесконечной величине мира в пространстве и времени, когда думаем о прошедших и грядущих тысячелетиях, или когда в ночном небе в самом деле перед нашим взором предстают бесчисленные миры и неизмеримость мира проникает в наше сознание, — то мы чувствуем себя ничтожно малыми, чувствуем, что мы как индивид, как одушевленное тело, как преходящее явление воли исчезаем и растворяемся, превращаясь в ничто, словно капля в океане. Однако одновременно против

такого призрака нашего ничтожества, против такой ложной невозможности восстает непосредственное сознание того, что все эти миры существуют лишь в нашем представлении как модификации вечного субъекта чистого познания, субъекта, которым мы себя обнаруживаем, как только забываем об индивидуальности, и который есть необходимый, обуславливающий носитель всех миров и всех времен. Беспокоившая нас ранее огромная величина мира заключена теперь в нас: наша зависимость от него устраняется его зависимостью от нас [11, с. 319].

Кант находит опору в нашем величии, Шопенгауэр — в нашем ничтожестве, зато без раздражающих его гипостазов, которые всего-навсего наши представления. Однако А. А. Фета эти гипостазы нисколько не пугают. Его отношение к Шопенгауэру никак нельзя назвать не критическим, апологетическим. Ему нравится шопенгауэровская образность, свобода и непринужденность философских оценок, трезвость взгляда на жизнь. Особенного одобрения и интереса заслуживает, с точки зрения Фета, эстетика и философия искусства, которые своей чистотой и полнейшей незаинтересованностью ничем, кроме самих себя, спасают человека от юдоли страданий, от вечной неудовлетворенности. Но в общеподобных вопросах поэт явно на стороне Канта, а не Шопенгауэра, что находит прямое выражение в его творчестве. Философская ориентация студенческой юности явно сохраняет приоритет в его душе: безоговорочная квалификация А. А. Фета в качестве шопенгауэрианца не просто спорна, но ошибочна. Стоит задать себе вопрос: пессимист ли такой поэт, который славит тончайшие нюансы любви и красоты мира, который выражает страстную надежду на преобразование в будущем всего уродливого и мертвящего, что успели накопить человек и природа, и уверен во всестороннем расцвете их? — станет понятно, что вопрос этот риторический. Самой логикой знакомства с Артуром Шопенгауэром Фет вынужден постоянно сопоставлять его с Кантом. Этого требует от своих читателей сам Шопенгауэр, заявляя, что «Критика кантовской философии» является пропедевтикой к «Миру как воле и представлению», и А. А. Фет сообщает, что добросовестно проштудировал ее, но этим не ограничился, а взялся за самого Канта. Скорее всего, это было давнее намерение поэта, хотя и Шопенгауэр призывает к изучению Канта столь убеждающим образом, что не последовать этому призыву означало бы не испытать «духовного возрождения» и остаться «в плену естественного младенческого реализма» [12, с. 135]. Изучение Канта отвечало интеллектуальным потребностям Фета, стало его постоянным интеллектуальным упражнением: «Устойчивая и серьезная работа сделалась мне необходимою. Я стал читать Канта, перечитывал Шопенгауэра и даже приступил к его переводу: "Мир как воля и представление"» [8, с. 350], — писал он. Всякий, кто знаком с текстами того и другого, понимает, что Кант требует систематического и напряженного труда, а взявшись за перевод Шопенгауэра, нужно справляться о трактовке им идей Канта, сверяя его интерпретацию с оригиналом, от которых Шопенгауэр отправляется. А. А. Фет занят был именно такой работой, о чем свидетельствуют его письма.

В этой связи чрезвычайно интересно стихотворение «Среди звезд», написанное 22 ноября 1876 года, когда шла напряженная работа над переводом «Мира как воли и представления». Автор в этом произведении, погружившись в созерцание звезд, ведет сам с собою диалог, обращаясь с репликой к звездам и получая от них ответ — риторическую реакцию самого предмета рассмотрения. В диалоге этом сталкиваются две философские позиции, обе взвешиваются на весах философской мысли, и ответ звезд ока-

зывается весомее. Стоит взглянуть на этот сияющий и такой уверенно-бодрящий мир скучными глазами Шопенгауэра, как тотчас же раздается в душе протест, исходящий от самих сверкающих бриллиантами звезд, заставляющий смотреть на этот мир, как и на мир вообще, с оптимистической надеждой. Звезды никак не могут согласиться, что они лишь представления нашего я.

Среди звезд

Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу,
Рабы, как я, мне прирожденных числ,
Но лишь взгляну на огненную книгу,
Не численный я в ней читаю смысл.

В венцах, лучах, алмазах, как калифы,
Излишние средь жалких нужд земных,
Незыблемой мечты иероглифы,
Вы говорите: «Вечность — мы, ты — миг.

Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вечной догоняешь тень;
Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный
К тебе просился беззакатный день.

Вот почему, когда дышать так трудно,
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где все темно и скудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло» [10, с. 97]

Две первые строки начальной строфы — шопенгауэрианские, поскольку звезды здесь — лишь представления моего я, даже числа, которые всего лишь пустой предмет счета. Они всего только расчерченные числовые комбинации световых пятен. «Считать не значит понимать, и счет сам по себе не дает понимания вещей, — пишет Шопенгауэр. И продолжает анализировать операции с числами: Можно даже сказать, там, где начинается вычисление, кончается понимание; ибо ум, занятый числами, полностью чужд, пока он вычисляет, каузальной связи и геометрической конструкции физического процесса, он погружен в отвлеченные числовые понятия. Результат же всегда отвечает только на вопрос *сколько* и никогда на вопрос *что*» [12, с. 62–63]¹. Можно повторить ранее приведенное рассуждение Шопенгауэра из «Мира как воли и представления», перефразируя лишь его конец: *наша зависимость от звезд устраняется их рабской зависимостью от нас.*

Но звезды решительно протестуют против подобной их аттестации. Во-первых, их нельзя сосчитать, а значит, придется все же отвечать на вопрос *что*? Даже если они всего лишь *иероглифы мечты*, но мечта-то эта *незыблема*, что может означать, что мечта эта дана субъекту извне, что устранить эту мечту не в его, впечатлительного субъекта, силах. Во-вторых, познание звездных миров, вечная о них дума — процесс бесконечный, и эмпирический субъект, существование которого на фоне вечности мира — лишь *миг*,

¹ А. А. Фет перевел и работу Шопенгауэра «О четвероюм корне закона достаточного основания», поскольку тот изучение ее рассматривает в качестве ключа к «Миру как воле и представлению».

даже если он знает о звездах все, что известно человечеству о них, располагает и в этом случае лишь тенью абсолютного знания. И в-третьих, со звездными мирами связан оптимизм человеческого существования. Лишь они сулят человечеству «беззакатный день». Все три аргумента А. А. Фета находятся в согласии с кантианством.

Однако ни критическое отношение к шопенгауэровскому пессимизму, ни отчетливое видение противоречивости его философских позиций не мешают Фету восторгаться Шопенгауэром, его *сладостным* (эпитет принадлежит А. А. Фету) стилем. До Шопенгауэра еще никто по философским вопросам так не писал. Скептическая трезвость шопенгауэровских оценок людей и жизни как она есть видна и в только что приведенном стихотворении. Особенно же импонирует Фету тонкое и совершенное чувство философа, смелость его философских оценок, точность художественно-критических суждений без малейшего преклонения перед авторитетами.

Одно из таких эстетических суждений Шопенгауэра послужило А. А. Фету для создания ряда лирических шедевров, посвященных звездному небу. Рассматривая роль света в эстетическом восприятии мира, Шопенгауэр отмечает его отрешенность от жизненных нужд, а следовательно, и нудящего действия воли: «...свет служит коррелятом и условием самого совершенного способа созерцательного познания, единственного, который не аффицирует непосредственно волю» [11, с. 314], обеспечивая возможность *чистой красоты* при всей значительности такой красоты для субъекта, и попутно выводит из этого одно следствие:

Это воззрение на свет объясняет также невероятную красоту, которую мы наблюдаем при *отражении объектов в воде* (курсив мой. — Л.К.). Самый легкий, быстрый и тонкий способ воздействия тел друг на друга тот, которому и мы обязаны совершеннейшим и чистейшим из наших восприятий, — воздействие посредством отраженных световых лучей, — встает здесь перед нами вполне отчетливо, обозримо и полно в причине и действии, причем в больших размерах; отсюда наш вызываемый этим эстетический восторг, который коренится, главным образом, в субъективном основании эстетического наслаждения и есть радость по поводу чистого познания и его путей [11, с. 314–315].

Этот мотив удвоенного водою неба у А. Фета вплетается в стихи, где красота чувств сливается с красотой природы и где прекрасные интеллектуальные чувства обостряются под действием непосредственных ощущений и восприятий игры света, а эти последние изошряются так, что, кажется, преодолевают нормальный порог чувствительности и проникают за его пределы. Например, одна из лучших лирических миниатюр, посвященных признанию в любви, открывается зеркально отраженной картиной:

Какое счастье: и ночь, и мы одни!
Река — как зеркало и вся блестит звездами;
А там-то ... голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!

Небо и река поменялись местами, мир остранился, и стало возможным сказать то, что при свете дня звучало бы немисливо странно:

О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею! [10, с. 264].

Признание в слабоумии в другой обстановке было бы просто невозможно. Душа снимает оковы самоограничения, условностей света, откровенность становится естественной нормой:

Молчали листья, звезды рдели,
И в этот час
С тобой на звезды мы глядели,
Они — на нас.

Когда все небо так глядится
В живую грудь,
Как в этой груди загаится
Хоть что-нибудь? [10, с. 282]

(14 ноября 1859)

Небесная чистота души — ее субстанциальное свойство. Пошлость глубоко приземленных интересов и дел большинства — это налипшая на прозрачных гранях души грязь, и как хорошо, когда в резонанс со звездным трепетанием может она эту грязь отряхнуть, отринуть ее от себя, чтобы вновь ощутить детскую чистоту изначальности. Только так существует блаженство человеческого бытия. Из постоянства этой Фетовой мысли, как из волшебного рога, изливались поэтические шедевры, каким стало, например, в том же плодотворном для Фета 1859 году появившееся стихотворение «Море и звезды»:

На море ночное мы оба глядели.
Под нами скала обрывалась бездной;
Вдали затихавшие волны белели,
А с неба отсталые тучки летели,
И ночь красотой одевалась звездной.

Любуясь раздольем движенья двойного,
Мечта позабыла мертвящую сушу.
И с моря ночного, и с неба ночного,
Как будто из дальнего края родного,
Целебную силою веяло в душу.

Всю злобу земную, гнетущую, вскоре,
По-своему каждый, мы оба забыли:
Как будто меня убаюкало море,
Как будто твое утолилося горе,
Как будто бы звезды тебя победили [10, с. 246]

Экспозиция в две начальные строки явно аллюзивна: она намекает на известные полотна чрезвычайно модного в середине XIX века немецкого живописца Каспара Давида Фридриха, с творчеством которого Фет основательно познакомился во время своего пребывания в Дрездене. «Двое, созерцающие луну», «Уединенный грот над морем...» слиты в одно целое в этих двух строчках. Но главное, конечно, для Фета — живописная мысль Фридриха. Грот — рождающее лоно Земли. Глядящие из него на голубовато-бирюзовое, прекрасное бескрайнее море, незаметно переходящее в еще более бесконечное небо, люди находятся как бы перед животрепещущим вопросом: вечно им быть привязанными к матери-земле или их мир — бес-

предельная стихия моря и неба? Растеряны герои К.Д. Фридриха перед этой тягой в бездну, перед желанием воспарить, как птицы, потеряны сами в себе... Сопрягая эту мысль с кантовско-шопенгауэровской идеей, Афанасий Афанасьевич Фет отвечает на вопрос Каспара Фридриха. Он над этой дилеммой уже размышлял: целебная сила звездного двоимирия потому и действительна, что природа наша сродни многомерности бытия.

Почти точно за год до смерти А. А. Фет возвращается мыслью к картине удвоенного игрою света на воде звездного неба, виденной им в счастливые времена мужественной зрелости:

Качаясь, звезды мигали лучами
На темных зыбях Средиземного моря,
А мы любовались с тобою огнями,
Что мчались под нами, с небесными споря.

В каком-то забвеньи, немом и целебном,
Смотрел я в тот блеск, отдаваясь неге;
Казалось, рулем управляя волшебным,
Глубоко мне грудь ты взрезаешь в побеге.

И там, в глубине, молодая царица,
Бегут пред тобой светоносные пятна,
И этих несметных огней вереница
Одной лишь тебе и видна и понятна [10, с. 246].

(17 февраля 1891)

Фет часто употребляет эпитет *целебный*, но разве не целебны сами такие стихи? Как возможно такое развернутое сравнение, что использовал А. А. Фет? Этот вопрос возникает невольно: уж очень неожиданно далеки сравниваемые предметы: скольжение корабля по морской глади, где проплывают мимо борта и остаются за кормой огненные всплески звезд, и движение какого-то неведомо фантастического плуга в груди человека, дающего возможность во взрезаемой им душе считывать духовную информацию. Как всегда, когда мы имеем дело со столь сложной аналогией, разгадку надо искать в *tertium comparationis* — в предмете-медиаторе: пробегают в морской глади золотые звезды — и мелькают тени прекрасных душевных движений на лице созерцающего эти звезды. «Звездное небо *подо мной* и моральный закон во мне» — бессмертный афоризм Канта — и есть этот третий член сравнения. Аналогия не была бы возможной, если бы не существовала в сознании поэта давно готовая модель, внедренная в души людей великим автором «Критики практического разума».

У А. А. Фета даже обязательный для великого поэта мотив *exegi monumentum* связан с миром звезд. Афанасий Афанасьевич Фет понимал непреходящее значение своего творчества. Ориентируясь на идеал добра и красоты, на *чистый* идеал, приближение к которому в настоящем было для него далеко не очевидно, он все же надеялся на возрастание значения своей поэзии в будущем. Стихотворение «Горная высь» выражает эту надежду поэта. Только с высоты небес, только заглядывая в далекое далеко будущего и *бессильный вздох*, и *земная тоска* не отравят существования, избавят от отчаяния. Поэзия, если это настоящая поэзия, а у А. А. Фета она такова, и есть эта же «горная высь»:

Превыше туч, покинув горы
И наступя на темный лес,
Ты за собою смертных взоры
Зовешь на синеву небес.

Снегов серебряных порфира
Не хочет праха прикрывать;
Твоя судьба — на гранях мира
Не снисходить, а возвышать.

Не тронет вздох тебя бессильный,
Не омрачит земли тоска;
У ног твоих, как дым кадилыйный,
Вияся, тают облака [10, с. 311]

(Июль 1886)

Во второй строфе поэт нравственно-эстетического идеала обращается к библейскому образу лестницы на небо, по которой ангелы сходят на землю и вновь поднимаются на небо. В отличие от этой ангельской лестницы, лестница поэзии и самого поэта ведет только к небу, только ввысь. *Направиться вниз поэзия не может — она перестает быть поэзией!* Последнее десятилетие жизни Фета — 80-е годы XIX века — обнадёживало стареющего поэта: интерес к его творчеству обнаруживал себя все больше. Шестого мая 1890 года, за полтора года до смерти, написано им стихотворение «Угасшим звездам»:

Долго ль впивать мне мерцание ваше,
Синего неба пытливые очи?
Долго ли чужать, что выше и краше
Вас ничего нет во храмине ночи?

Может быть, нет вас под теми огнями:
Давняя вас погасила эпоха, -
Так и по смерти лететь к вам стихами,
К призракам звезд, буду призраком вдоха! [10, с. 119]

Поэзия нерасторжимо переплетена здесь с философией, а та и другая — с космологией и космогонией. Как свет связывает в одно целое мир звезд, переживших гравитационный коллапс, и тех, что продолжает активно жить, так и стихи объединяют в общность человечество, связывают в целое творцов культуры, перешедших грань настоящего, с теми, кто не только есть, но и будет. А «Нептуну Леверье» свидетельствует нам, что брэнность Земли нисколько Фета не пугала, как в стихотворении «Угасшим звездам» не пугает брэнность звезд, то есть даже Солнца.

Фет, вполне вероятно, обратил свое внимание на проблему *невечности* звезд, переводя диссертацию А. Шопенгауэра «О четверюгом корне закона достаточного основания». Обсуждая в этой работе проблему каузальности, Шопенгауэр подвергает критике «Третью аналогию опыта» из «Критики чистого разума» Канта, в которой последний утверждает, что *«все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии»* [5, с. 274 (В 257)]. Речь, как видим, идет о субстанциях, о том, что неизменно, так как только явления изменяются, а субстанции остаются постоянными. Их постоянство в общении и есть основание одновременности. Отсюда следует, конечно, очень важный для Канта вывод о единстве мира, о том, что если предполо-

жить какую-то субстанцию, которая никак не взаимодействует с другими, то ее *существование* проблематично, а главное, такая субстанция не имеет ни малейшего значения для мира: есть она или ее нет — безразлично для него. Этим принципом Кант исключает из существования всякую трансценденцию как субстанцию — исключает существование трансцендентного Бога.

Но Шопенгауэр отвергает Кантову категорию *взаимодействие*, считая, что с помощью такого рода *остатков догматической метафизики* в его системе явления, которые выступают лишь нашими субъективными *представлениями*, приобретают объективный характер и не отличаются этим от вещей в себе. Шопенгауэр, вслед за многочисленными интерпретаторами Канта, рассматривает это присутствие элементов вещей в себе в мире явлений как непоследовательность, противоречие в Кантовой системе; тогда как на деле абсолютное разграничение мира представлений и мира воли как мира вещей в себе самого Шопенгауэра вынуждает противоречить себе, поскольку он вводит между ними взаимодействие (без которого не о чем было бы философу мировой скорби и говорить), прежде всего, с помощью искусства.

Шопенгауэр, возражая против третьей аналогии опыта, пишет:

Кант здесь доходит до того, что говорит: «одновременное существование явлений, которые не находились бы во взаимодействии друг с другом, а были бы разделены, скажем, пустым пространством, не могло бы быть предметом восприятия» (это было бы доказательством а priori, что между неподвижными звездами нет пустого пространства), и далее: «что свет, который *играет между* нашими глазами и мировыми телами (это выражение вводит понятие, будто не только свет звезд влияет на наш глаз, но и глаз на звезды), создает общение между нами и ими и таким образом доказывает их существование». Последнее даже эмпирически неверно, так как *видение неподвижной звезды отнюдь не доказывает, что она существует теперь одновременно с тем, кто наблюдает за ней: доказать это может не более того, что эта звезда существовала несколько лет, а часто и несколько тысячелетий тому назад* (курсив мой. — Л. К.)» [12, с. 74].

Однако критика А. Шопенгауэра неверна. Во-первых, для него пространство — только преобразование интеллекта как форма созерцания (см. [12, с. 47]), а потому пусто, тогда как для Канта *пустое пространство* — идея разума («...оно вовсе не объект для какого бы то ни было нашего возможного опыта» [5, с. 277 (В 261; А 219)]), уводящая нас из мира, соответствующего *всему возможному опыту*, в мир сознания. Пространство как *априорная форма чувственности* (форма чувственного сознания) — это одно, а реальное пространство мира явлений — это совсем другое: оно неотъемлемо от субстантивного материального содержания. Шопенгауэр эту Кантову дилемму рассматривает в качестве догматического метафизического анахронизма: просто Кант не сумел полностью очиститься от догматической метафизики.

Шопенгауэр обращает наше внимание на метафору Канта «...das Licht, welches zwischen unserm Auge und den Weltkörpern spielt, eine mittelbare Gemeinschaft zwischen uns und diesen bewirken...», — которую истолковывает так, будто не только свет, идущий от звезд, влияет на наши глаза, но и глаза влияют на звезды, чего, конечно, у Канта нет. «Das Licht ... spielt ...» в данном контексте имеет тот смысл, что свет *переливается, блистает, сверкает*, то есть светимость звезд меняется в зависимости от их состояния и обеспечивает опосредствованное общение между нами и звездами: разумеется, общение одностороннее — звезды сообщают нам о своем состоянии, а мы

понимаем эти сообщения и руководствуемся ими пока в сугубо земных делах. Звезды относятся Кантом к миру явлений; явления же, в отличие от субстанций, изменчивы. Согласно Кантовой космогонической гипотезе, как мы знаем, хорошо известной А. А. Фету, звезды ожидает как раз *гравитационный коллапс* (один из возможных сценариев в судьбе звезд по современным представлениям). К тому же в данном вопросе надо иметь в виду вторую аналогию, согласно которой «...новое состояние реальности вырастает из первого состояния, в котором ее не было, проходя через бесконечный ряд степеней, отличающихся друг от друга меньше, чем *o* от *a*» [5, с. 273 (В 255; А 210)]. Это означает, что звезды не исчезают бесследно, а переходят в новое состояние. Шопенгауэр, возражая Канту, не обращает внимания на упорное подчеркивание кёнигсбергским философом опосредствованного и изменчивого состояния явлений в ходе одновременного взаимодействия.

Соглашался А. А. Фет с шопенгауэровской критикой Канта в этом отношении или нет – вопрос открытый. Однако вполне вероятно, что обратил внимание Фет на утверждение Шопенгауэра о конечности звезд в связи с шумихой в прессе по поводу результатов эксперимента А. Майкельсона – Э. Морли, который они проделали в конце 80-х годов и который показал, что скорость света – константа с вполне определенной величиной и что суждения Шопенгауэра, высказанные более чем на 70 лет ранее этого эксперимента, справедливы. Столь явно обнаружившаяся прозорливость любимого им Шопенгауэра вдохновила поэта. Свою брэнность он сравнивает с брэнностью звезд, но не исчезают они бесследно – не исчезнут бесследно и его стихи. Финал стихотворения «Нептуну Леверье», обобщенный в свете всего двух строф, посвященных «Угасшим звездам», был бы таким:

Вечно, вечно,
Как бы ни мчались [вы, сестры мои],
Крылья мои зашумят, и орлиный
Голос к [вам] зазвучит по эфиру:
Здравствуй[те, звезды]!

Афанасий Афанасьевич Фет проложил дорогу русским символистам. От него переняли увлечение философией и Артура Шопенгауэра, и, особенно, Иммануила Канта как старшие, так и младшие символисты. Тема *звездного неба и морального закона* стала и их темой. Ей посвятили лучшие свои стихи и Владимир Соловьев, и Дмитрий Мережковский, и Андрей Белый, и Вячеслав Иванов, и Александр Блок... Поэты XX века, а теперь и XXI продолжают эту традицию, начатую Фетом. Он «спровоцировал» поэтическое состязание, которое продолжается в русской поэзии вот уже третий век.

Список литературы

1. *Благой Д. Д.* Мир как красота. (О «вечерних огнях» А. Фета) // Фет А. А. Вечерние огни. М., 1981.
2. *Григорьев А. А.* Комета // Григорьев А. Стихотворения. Поэмы. Драммы. СПб., 2001.
3. *Калинин Л. А.* «Звездное небо» и «моральный закон» – поэтическая тема в вариациях // Калинин Л. А. Иммануил Кант в русской поэзии (Философско-этические этюды). М., 2008.
4. *Кант И.* Всеобщая естественная история и теория неба // Кант И. Собр. соч. : в 6 т. М., 1964. Т. 1.

5. Кант И. Критика чистого разума // Там же. Т. 3.
6. Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике ... // Там же. Т. 4(1).
7. Розенблюм Л.М. А. Фет и эстетика «чистого искусства» // Литературное наследство. А. А. Фет и его литературное окружение. М., 2008. Кн. 1.
8. Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2.
9. Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева // Фет А. А. Соч. : в 2 т. Т. 2 : Рассказы. О поэзии и искусстве. Письма. М., 1982.
10. Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959.
11. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. Т. 1.
12. Шопенгауэр А. О четвероюм корне закона достаточного основания // А. Шопенгауэр. О четвероюм корне... Мир как воля и представление. Т. 1 : Критика кантовской философии. М., 1993.

Об авторе

Калинников Леонард Александрович — д-р филос. наук, проф. кафедры философии Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, kant@kantiana.ru

About author

Prof. Leonard A. Kalinnikov, Department of Philosophy, Institute of the Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University, kant@kantiana.ru